Александр

ПУШКИН



Классика для школьников

Дубровский

Повести Белкина

Рекомендовано лучшими учителями

АСТ

Дубровский. Повести Белкина
Александр Сергеевич Пушкин

Аннотация
Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Повести Белкина
Дубровский
- Том первый
  - Глава 1
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
- Том второй
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI

Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
От издателя
Выстрел
I
II
Метель
Гробовщик
Станционный смотритель
Барышня-крестьянка

Аннотация

В книгу вошли два выдающихся произведения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837): роман «Дубровский» и «Повести Белкина».

Главный герой романа «Дубровский» (1833), Владимир Дубровский, – благородный разбойник. Судьба заставила его встать на преступный путь: он был несправедливо осуждён властями за поджог и убийство. Дубровский жаждет отомстить своему врагу – сумасбродному помещику Кириллу Троекурову, который довёл его отца до смерти и дал ложные показания на Дубровского в суде. Владимир нанимается в дом Троекурова под видом гувернёра. Однако его планам не суждено сбыться: неожиданно он влюбляется в дочь Троекурова – Машу…

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1831) состоят из 5 повестей: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». Все они являются образцами различных литературных стилей: это и реализм, и сентиментализм, и

готическая повесть, и даже водевиль. «Повести Белкина» – уникальное произведение русской литературы XIX века, открывшее новые горизонты творческого развития для многих известных писателей.

Александр Сергеевич Пушкин
Дубровский. Повести Белкина

© ООО «Издательство АСТ»

Дубровский

Том первый
Глава 1

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения.

Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей,

он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место.

С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; но они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и

владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместие; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто

говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен

был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, — спросил его Кирила Петрович, — или

псарня моя тебе не нравится?» — «Нет, — отвечал он сурово, — псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним,

воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рас-

сердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью. «Как, — загремел Троекуров, вскочив с постели босой, — высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностию, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит: прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но

мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или…

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно…

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но в последствии времени оказавшуюся

недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судии для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

Глава II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18… года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола **

душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18… года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17… году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом все без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским

судом введен был во владение и учинен за него отказ. — А наконец 17… года сентября 6-го дня отец его волею Божиею помер, а между тем, он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17… года почти с малолетства находился в военной службе и по большой части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений ** вышеописанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее

по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17… году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорию Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, все доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем

отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться.

Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, — ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17… году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17… года, а по смерти отца его с 17… года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. — Упомяну-

тый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия … дня, совершенно уничтожается. — А сверх сего — велено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные

по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе… взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить. — По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде ОПРЕДЕЛЕНО:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней… ревизии всего мужеска пола ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17… году из дворян

канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу… воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается. Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18… года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Тро-

екурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** земскому суду. — А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его именем воспользовавшихся с оного доходов. — Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может все без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо.

Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал… Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не

почитать церковь Божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псари вводят собак в Божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

Глава III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но

силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряженьях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе

роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы — дескать ихние, а мы искони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут

вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня.

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романтически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал

просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до́ земи, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца

моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич… Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита-кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей — Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, — а все мы Божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. — При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: *«Вот Покровское!»* Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом — пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у

Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилось. Перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал

на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня, — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, — что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его

вопросами и приветствиями.

Глава IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился.

От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противуположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим

благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся… и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора… пошел! — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». — «Молчи, няня, —

сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем». — Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему

господину.

Глава V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколо-

тили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околодку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.

— Что будет, то будет, — сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином, — прервала Егоровна. — Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, Бог даст, бла-

годетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: вон, старый пес! долой со двора!

— Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется…

— Суета сует, — сказал священник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а Богу не все ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев,

движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его… Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел

стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо, — говорил поп попадье, — нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. — Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа — крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, — кричали они, целуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир

смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, — сказал он им, — а я с приказными переговорю». — «Переговори, батюшка, — закричали ему из толпы, — да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», — спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. — «А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову». — «Но вы могли

бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти…» — «А ты кто такой, — сказал Шабашкин с дерзким взором. — Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею Божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

— Владимир Андреевич наш молодой барин, — сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть, — сказал грозно исправник, — какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.

— Как не так, — сказал тот же голос.

— Да это бунт! — закричал исправник. — Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? Но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, — закричали дворовые, — ребята! долой их!» — и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились

в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать», — закричал тот же голос, — и толпа стала напирать… «Стойте, — крикнул Дубровский. — Дураки! что вы это? вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

— Делайте, что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я здесь уже не хозяин.

С этим словом он удалился в комнату отца сво-

его и запер за собою дверь.

Глава VI

«Итак, все кончено, — сказал он сам себе; — еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, — подумал Владимир, — он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся раз-

бором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *Письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. — Двери были заперты; не нашед ключа, Владимир возвратился в залу — ключ лежал на столе, Вла-

димир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — Господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.

— Я хотел… я пришел… было проведать, все ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди…

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было… да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора… Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился.

— Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ко фонарь ты, ступай за мною.

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья». — «Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно». — «Шабаш», — примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал…»

— Тише! — прервал Дубровский. — Где Егоровна?

— В барском доме, в своей светелке, — отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский. — Не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: *«Как не так, отопри!»* — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду, куда Бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, —

умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стеклы трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите».

– *Как не так*, — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, Бог тебя наградит.

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь все ладно, — сказал Архип, — каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего

сарая, недоумевая, куда спрыгнуть — со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетеся, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: Божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущенной дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

Глава VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пья-

ны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники

и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться

и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение… Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

Глава VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться

ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое, видимо,

имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностию и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович все это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего ве-

лел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына… переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо, — сказал Кирила Петрович, — не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род

слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на m-r Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали

их скакать на волю Божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Прогладавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась — двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел

привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него… Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил

и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Деформа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности; Деформ вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

Том второй
Глава IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась — ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею — и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни

налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и *о зиждителе храма сего.*

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушание поставлено», — и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел

учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутьич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться… «Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже: ты и богомолен и покушать любишь». — «Виноват, — отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастию, недалеко было от деревни; пока до нее

дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд…»

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе Бог миловал. Всего-навсё разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай, красная шкатулочка полным-полна…

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была пол-

на, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, — а мы, ей-богу, разорились, — и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, господин исправник, поймаете хоть вы Дубровского?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, — а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича; кабы не сожгли его, так в околодке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамский голос, — в прошлый вторник обедал он у меня…

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось Бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. — «Что такое? что с тобою

сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу». Я обмерла; Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, — сказал он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-

ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну». — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он?.. Ну, а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что же он сделал?..» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом, отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски — деньги

нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23-х.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно

сказано, что ему от роду 23-й год.

— А! — сказал Кирила Петрович. — Кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы; авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые*: таковых не оказалось».

— И только? — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою

бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то

жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указывал на Деформа; — выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою… с позволения сказать… Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич почесываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Деформа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно

начатой в столовой.

Глава X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы сме-

ялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Деформа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем

бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть…

— Que désire monsieur?[1] — спросил Деформ, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, шё ву куше[2], понимаешь ли?

— Monsieur, tres volontiers, — отвечал Деформ, — veuillez donner des ordres en conséquence[3].

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Деформ освещал дорогу фонарем,

---

[1] Примечания: 1
Чего изволите? (*франц.*)

[2] Примечания: 2
Я хочу спать у вас (*франц.*).

[3] Примечания: 3
Сделайте одолжение, сударь, извольте соответственно распорядиться (*франц.*).

Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Деформу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения; француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше[4], — закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад. — Я не могу дормир[5] в потемках!

Деформ не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман, — проворчал Спицын,

---

[4] Примечания: 4
Зачем вы тушите, зачем вы тушите (*франц.*).

[5] Примечания: 5
Спать (*франц.*).

закутываясь в одеяло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. — Мусье, мусье, — продолжал он, — же ве авек ву парле[6]. — Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон и в ум нейдет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а, мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал, усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се[7], — произнес он трепещущим голосом.

---

[6] Примечания: 6
Я хочу с вами говорить (*франц.*).

[7] Примечания: 7
Что это, сударь, что это (*франц.*).

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский.

Глава XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал, к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот Бог послал свистуна, — говорила она вполголоса. — Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель. — Что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

— Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу! так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю; вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас, — отвечал смотритель. — Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону… Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и

вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает, — отвечала смотрительша, — какой-то француз. Вот уже пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но г-н смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К г-ну Троекурову, — отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier…[8] я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями

---

[8] Примечания: 8

Право, господин офицер (*франц.*).

(avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда bonsoir[9], еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — отвечал учитель. — Меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее…

Офицер задумался.

— Послушайте, — прервал он француза, — что

---

[9] Примечания: 9
Прощайте (*франц.*).

если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами, с тем чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель.

Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — отвечал офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотритель и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски, — 10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие… мои бумаги, — повторял он с изумлением. — Вот мои бумаги… Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш пашпорт… хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении,

прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте.

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное мое слово, — отвечал француз. — Но мои бумаги, что мне делать без них?

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч. Зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завер-

нул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси — без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и

поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сель-

ских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собралися один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и, несмотря на

увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

Глава XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостию предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюб-

лена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли

негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют… я должен вас оставить, — сказал он наконец. — Вы скоро, может

быть, услышите… Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться…

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству, в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше

белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни… Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня… сей же час… Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском, знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда…

Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут, минута может погубить меня.

Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком

случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша, — спросил Кирила Петрович, — не встретила ли ты m-r Деформа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази, — продолжал Кирила Петрович, —

исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство, — сказал почтительно исправник.

— Эх, братец, — прервал Кирила Петрович, — убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застращал его, ваше превосходительство, — отвечал исправник, — и взял с него клятву молчать…

— Вранье, — решил Кирила Петрович, — сейчас я все выведу на чистую воду. — Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с, — отвечал слуга.

— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сумневаться. — Покажи мне твои хваленые приметы, — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. — Гм, гм, 23 года… Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с, — был опять ответ.

Кирила Петрович начинал беспокоиться, Ма-

рья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша, — заметил ей отец, — тебя перепугали.

— Нет, папенька, — отвечала Маша, — у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.

Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это

Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. — Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

Глава XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В тридцати верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода

изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопыт-

ными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?..

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил… Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров. — Она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу, не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петоовича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед

домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинство и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После

обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо

принимал tous les frais[10] князя как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

Глава XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу

---

[10] Примечания: 10
Все старания (*франц.*).

в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирила Петрович, — но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирила Петрович, — осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Верейскому, — это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась

позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным… брак пугал ее, как плаха, как могила… «Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и с жадностию бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова: «Вечером в 10 часов на прежнем месте».

Глава XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я все знаю, — сказал он ей тихим и печальным голосом. — Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство, — отвечала Маша, — но не сердитесь: оно пугает

меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса…

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною, я буду вашей женой.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало

бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то… то вы найдете ужасную защиту… скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если же не будет уже другого средства…

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался. Маша плакала…

— Бедная, бедная моя участь, — сказал он, горько вздохнув. — За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслужен-

ную награду. О, как должен я ненавидеть того… но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

Глава XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась дей-

ствовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец

ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою…

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? разве я вам надоела? я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж…

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша. — Боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть.

Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров, — угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский, — отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро, — сказал он ей после некоторого молчания. — Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. — С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное

ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смеркло. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

Глава XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений

к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу, голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша, — сказала она, — зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и запер-

ла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло.

Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры, сюда, сюда…»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его

рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли.

— Ах ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина…

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой.

Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног; садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— Погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все проис-

шествие.

Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна… да то кольцо…

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька… Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу…

— Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло. И… и… этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть…

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать… Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица

Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик…

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моем саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя

не высеку, а дам еще пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро, — сказал Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, — да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». — Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петро-

вич, — я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство, — сказал исправник с видом обрадованным, — где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев тринадцатилетнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая однако ж о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, — сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина, — сказал исправник.

Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой, — сказал ему Кирила Петрович, — да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок, — отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога, хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед, — проворчала старуха, — на

вот тебе ломотик, — и сунула в окно ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

Глава XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила

Петровича.

— Сию минуту, — отвечала дама. — Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова, — сказала дама Кирилу Петровичу, — прикажите садиться в карету.

— С богом, — отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом, — благословляю тебя…

Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька… папенька… — говорила она в слезах, и голос ее замирал.

Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще

медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ей приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». — «Что это зна-

чит, — закричал князь, — кто ты такой?..» — «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет, — отвечала она. — Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите, — закричал с отчаянием Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться…

— Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твердостию, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты… Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его.

Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

Глава XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка, — сказала она сердито, — барин почивает, а ты знай горланишь: нет у вас ни совести, ни жалости». — «Виноват, Егоровна, — отвечал Степка, — ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали

его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич, — закричал он, — наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу, — отвечали они, — нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показа-

лись из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, пола-

гаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после…….[11] он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была

---

[11] Примечания: 11
Далее пропуск в рукописи.

известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

1832–1836

Повести покойного Ивана Петровича Белкина

Г-ж а П р о с т а к о в а. То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.
С к о т и н и н. Митрофан по мне.

«Недоросль»

От издателя

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый государь мой ** **!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего ме-

сяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село

Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для

сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению Всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал уважение к

моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на́веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая[12].

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слы-

---

[12] Примечания: 12

Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

шаны им от разных особ[13]. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля

---

[13] Примечания: 13

В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году ноября 16.

Село Ненарадово.

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

Выстрел

Стрелялись мы.

Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел).

«Вечер на бивуаке»

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы.

Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто

поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности

загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он

отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после

несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами,

ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие

глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он мне, — перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р ***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р ***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police);[14] он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь

---

[14] Примечания: 14
Полицейская шапка (*франц.*).

блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника.

Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел: противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства… Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем,

как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал…

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта *известная особа.* Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противуположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н ** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя,* т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких,* коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было

сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б ***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном

и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток; но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными

одна на другую.

— Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу.

— Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. — В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности; — а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь, — отвечал граф, — мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк,

забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф, — а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места, — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам… но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одно-

го очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал… Ах! ваше сиятельство, — продолжал я, догадываясь об истине, — извините… я не знал… уж не вы ли?..

— Я сам, — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, — а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи…

— Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет, — возразил граф, — я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. — Первый месяц, the honey-moon[15], провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом;

---

[15] Примечания: 15
Медовый месяц (*англ.*).

лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не

привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался… Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить… но — я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Я выстрелил, — продолжал граф, — и, славу богу, дал промах; тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что

вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио; — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве, — а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» — «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

Метель

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой…
Вот, в сторонке Божий храм
Виден одинокой.
……
Вдруг метелица кругом,
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы…

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Пет-

ровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что

она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась: множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре: обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь: она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в

самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться… другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою,

и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь… На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед

оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а

для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоми-

нать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Влади-

мир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал

стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. — «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гости-

ную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только

то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала

о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной

Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre[16], тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драго-

---

[16] Примечания: 16
Да здравствует Генрих Четвертый! (*франц.*)

ценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностию,* как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non é, che dunque?..[17]

Бурмин был, в самом деле, очень милый моло-

---

[17] Примечания: 17
Если это не любовь, так что же? (*итал.*)

дой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего… (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому

причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом

взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно…» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно…» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux)[18]. «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду…» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою…» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но

[18] Примечания: 18
Сен-Прё (*франц.*).

смерть и три года сетований… Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы… молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание… я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после… но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю.

Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна… Непонятная, непростительная ветреность… я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали

невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, Боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…

Гробовщик

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с

образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преуве-

личенную цену у тех, которые имели несчастие (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать

не можем, — извините, что я вам помешал… я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан. «Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда, — заметил Адриан, — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана

Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за

стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку, и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы

работаем, unserer Kundleute!»[19] Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле, — рассуждал он вслух, — чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православ-

[19] Примечания: 19
Наших клиентов (*нем.*).

ных». — «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его, — что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову, — продолжал Адриан, — и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник

благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриан. — Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же, сделайте

милость». — «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо, — ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти… тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы… Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые

совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую

самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович, — сказала Аксинья, подавая ему халат. — К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну коли так, давай скорее чаю, да позови

дочерей.

Станционный смотритель

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Пого-

да несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей

представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний

отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай,* ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную

обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ям-

щиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась… Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти

того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал… Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство

начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. — Три года тому назад, однажды, в

зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать… Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром

послать в С *** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился

доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении… «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обед-

ни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С *** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С *** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем на-

мерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за ру-

ку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти— и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел… Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель

за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты

за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу, вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы…»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он

пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне…

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки

его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Всё, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище».

А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила, — отвечал Ванька; — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Барышня-крестьянка

Во всех ты, душенька, нарядах хороша.

Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий

русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обработывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным

распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили

согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité), без

чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение, однако ж nota nostra manet[20], как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следственно, балованное дитя.

---

[20] Примечания: 20
Наше замечание остается в силе (*латин.*).

Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России.*

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости, — сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза, — господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя, — к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это ве-

село.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька…

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские…

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее… а дочери и надулись, да мне наплевать на них…

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола… а сидели мы часа три, и обед был

славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое… Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку…

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него

слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться… Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре

толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала… но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: tout beau, Sbogar, ici…[21] и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось,

[21] Примечания: 21
Тубо, Сбогар, сюда… (*франц.*)

милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей, — ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза, — вольному воля, а дорога мирская». — «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно, — отвечал Алексей, — я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». — «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему». — «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула

от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностию, — то не извольте забываться». — «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она, — разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой, — да пусти ж, барин; мне и домой пора». — «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». — «Что ты? — возразила с живостию Лиза, — ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда

будет; отец мой, Василий-кузнец, прибьет меня до смерти». — «Да я непременно хочу с тобой опять видеться». — «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». — «Когда же?» — «Да хоть завтра». — «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да». — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, — сказал он, — как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником,

и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил

на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза, — довольно

одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности, вообще, должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба

они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом,

и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему,

осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением, — отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear»[22], — отвечал ей Григорий Иванович

[22] Примечания: 22
Моя дорогая (*англ.*).

и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев. — Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла? — возразил отец, — давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься…» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное… Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как на-

ходке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, — отвечала Лиза, — я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы! — сказал смеясь Григорий Иванович. — Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь

бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы… Лиза, его смуглая

Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile[23] торчали как фижмы у Madame de Pompadour;[24] талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она до-

[23] Примечания: 23
По-дурацки (фасон узких рукавов с пуфами у плеча) (*франц.*).

[24] Примечания: 24
(У) госпожи де Помпадур (*франц.*).

гадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу. — А знаешь ли что? Белила, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою

дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить… она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей… и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ? — сказала она тотчас Алексею, — какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят…» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными

чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И! — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ими завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей

крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако же не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый

про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». — «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить;

не понуждаю тебя вступить… тотчас… в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович, — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша. Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.

— Не твое горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но

Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, — отвечал слуга, — Григорий Иванович с утра

изволил выехать». — «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено, — думал он, подходя к гостиной, — объяснюсь с нею самою». — Он вошел… и остолбенел! Лиза… нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться… «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?»[25] — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

— Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется, дело совсем уже слажено…

---

[25] Примечания: 25
Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (*франц.*)

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Конец повестям И. П. Белкина

1830